

Константин А. Богданов (Констанц / Санкт-Петербург)

«ТЕЛА, ТЕЛА, ТЕЛА...»:
К ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

Учившийся в Европе Даниил Михайлович Велланский, ставший позднее профессором Петербургской Медико-хирургической академии и авторитетом «русского шеллингианства», вспоминал, что до его возвращения из Европы (в 1806 году) о физиологии в России «не было ни малейшего понятия» (Шпет 1989: 313).¹ Велланский преувеличивает, но прав в главном. Не только в физиологии, но даже в такой традиционной области медицинского знания как анатомия, Россия рубежа XVIII-XIX вв. очевидным образом отстает от Европы, переживающей в это время расцвет медицинской науки, анатомии, патологанатомии и, в частности, физиологии, нашедшей в Велланском своего ревностного популяризатора. Репутация отечественной медицины в глазах современников невысока, а контекст популяризации самого медицинского знания – идеологически противоречив. В отличие от Европы, где распространение медицинского знания определяется в целом непосредственной ролью общественной медицины, деятельностью врачей, внедрением в социальную жизнь медицински-нормированных правил гигиены (Porter 1992), в России популяризация медицины и адаптация медицинских идей была несравнимо менее экстенсивной и гораздо более опосредованной. По мнению Александра Вудничича, автора ценных работ по культурной истории отечественной науки, русская медицина вообще не являлась сколько-либо социально значимым идеологическим институтом вплоть до 1860-х годов (Vucinich 1970: 7, 228-230). Согласиться с этим утверждением без поправок нельзя (особенно если учитывать предшествующий опыт Отечественной войны и холерных эпидемий), но нельзя, конечно, не видеть, что роль медицины и сама трансмиссия медицинских идей в дореформенной

¹ Шпет называет Велланского «первым проповедником идей Шеллинговой натурфилософии» (Шпет 1989: 133), а П. Н. Сакулин – «святым фанатиком натурфилософии» (Сакулин 1913: 131).

России, действительно, сильно разнятся с тем, что происходит в это время на Западе.

Идеологический драматизм в отношении к медицине наиболее наглядно выразился в отношении к анатомическим исследованиям. Несмотря на то, что со времен античности анатомические исследования считались основой медицинского знания, общественная репутация тех, кто практиковал такие исследования, в существенной степени зависела не от научных, а от религиозных представлений. Не только в России, но и в Европе анатомическое вскрытие человека воспринималось прежде всего как дефамация права на погребение, неуважение к телу покойного, публичное наказание (Linebaugh 1975: 76). И в XVIII и даже XIX веке врачи обвинялись в осквернении могил и краже мертвых тел – медицинская профессия граничила в общественном сознании с преступлением против морали и самой христианской традиции, в поправлении которой врачи (и прежде всего – анатомы) оказывались вольно или невольно ответственными (Luyendijk-Elshout 1970: 121-126; Yunum 1995: 12).² В России настороженное или прямо негативное отношение к анатомическим исследованиям усугублялось также тем обстоятельством, что в отличие от католической традиции, хорошо знакомой с практикой анатомирования и бальзамирования, православная традиция такой практики не знала. Исключительный интерес к медицине и анатомии Петра I, выразившийся в покупке анатомической коллекции Фредерика Рюйша (в 1717 году) и создании на ее основе Санкт-Петербургской Кунсткамеры (открыта для публики в 1718 году), основание первого в России военного госпиталя, хирургической школы, анатомического театра в Москве, «институции медицинской, анатомической и хирургической» при Академии наук в Петербурге, приглашение из Европы медицинских знаменитостей (Николая Видлюо) и посылка будущих медиков на учебу в Европу – все это стало началом строительства отечественной медицины. Однако и при самом Петре, и позже анатомирование продолжало ассоциироваться с наказанием и публичным глумлением над человеческим телом (Vucinich 1965: 3-37; Евреинов 1913: 33, след.).³ Анатом к тому же не только «казнил», но и лишал умершего

² Обвинения врачей в «оскорблении чувств верующих» известны и в истории русской медицины – такова, например, история Квирина фон Бремборга, немецкого врача, практиковавшего в Москве в 30-е годы XVII столетия. Фон Бремборг конфликтовал с докторами и ходатайствовал о совмещении трех должностей – доктора, хирурга (лекаря) и аптекаря. Поведение Бремборга в конце концов вынудило начальство Аптекарского приказа отказать Бремборгу от должности и отправить его домой, при этом поводом к увольнению послужило то, что Бремборг выставил в окне своего дома скелет (Загоскин 1891: 57-58).

³ Сам Петр отправил по крайней мере одного преступника (крестьянина Козьму Жукова, осужденного в 1705 году в намерении царубийства) под нож хирурга («для анатомии»).

посмертного покая, а тем самым вольно или невольно делал из умершего «заложного покойника» - непростенного грешника, лишеного надлежашей могилы в ограде церкви. Показательно, что противники Петра оценивали интерес императора к анатомии в апокалиптических терминах – анатомическое собрание Кунсткамеры в их глазах достаточно свидетельствовало, что Петр действует по наущению сатаны (Hughes 1998: 450).

Популяризация европейской медицины в России наталкивается на сопротивление традиции, оценивающей медицинские нововведения в контексте чужеродных для национальной культуры явлений. В популярных пьесах русского народного театра XVIII-XIX вв, воспроизводящих в целом традиционный для европейских комедий образ врача-шарлатана, почти всегда подчеркивается его нерусское происхождение. Он странно выглядит, плохо говорит и в конце концов бывает бит — и потому, что врач, и потому, что иностранец.⁴ Вплоть до середины XIX века иностранное происхождение врачей подчеркивается и в литературе. Стилистика подобных изображений варьируется, но редко бывает нейтральной. Василий Нарезный анекдотически обыгрывает сравнение врачей-иностранцев и врача русского в романе *Российский Жилблаз, или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова* (1813-1814). В первой главе четвертой части этого романа главный герой впадает в ипохондрию, а его сын собирает консилиум медиков, чтобы найти способ его вылечить. Происходит диспут, на котором приглашенные врачи предлагают способы лечения, живо напоминающие читателю о традициях сатирического изображения медицинской профессии, но также и о сложившихся национальных стереотипах. Советы – один нелепее другого – симптоматичны: русский врач предлагает напоить больного, хотя бы и против его воли, пуншем; француз – познакомить больного с пригожей девицей; немец – запереть больного и взять его измором, искушая попутно едой и танцами; англичанин – вручить больному заряженный пистолет и дать ему возможность застрелиться. Диспут заканчивается потасовкой немца и англичанина. Побивший немца англичанин спокойно уходит, немец грозит вписать в свою монографию, посвященную доказательству пагубности английских способов лечения, очередные двести страниц; русский «вышел, качая головою, а француз – распевая песню» (Нарежный 1983: 297). Иллюстра-

Мы не знаем, каким было это «анатомирование», но шесть дней спустя Жуков умер (Голокова 1957: 186).

⁴ Таковы, напр., остающиеся в репертуаре балаганных представлений вплоть до конца XIX века «Голландский лекарь и добрый аптекарь», «Доктор и больной». Ср. также образы врачей в пьесах «Петрушка», «Царь-Максимилиан» (*Русская народная драма* 1953).

цией той же сатирической традиции может служить персонаж, выведенный Гоголем в *Ревизоре*. Здесь это безмолвный лекарь Христиан Иванович Гибнер, немец, который на протяжении пяти актов пьесы однажды «издает звук, отчасти похожий на букву: и, и несколько на: е» (Гоголь 1938: 13). Сакраментальная характеристика его деятельности вложена Гоголем в уста попечителя богоугодных заведений Земляники:

«О! Насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше; лекарств дорогих не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясниться – он по-русски ни слова не знает» (Гоголь 1938: 13).

Английский врач А. Б. Гранвиль в книге, посвященной состоянию дел в петербургской медицине (английское издание 1828 г., русский перевод 1832 г.), основываясь на собственных наблюдениях, отмечал бросающуюся в глаза диспропорцию в числе иностранных и русских врачей. «Медицинскую профессию в С.-Петербурге отправляли большей частью иностранцы – немцы, французы, англичане и итальянцы, так что число русских врачей в сравнении с ними слишком ограничено» (Гранвиль 1832: 9). Наблюдение Гранвиля требует исторической корректировки, но важно, что оно отражает общее убеждение современников, видевших в русской медицине лишь одно из проявлений европейской культуры и европейской науки. В идеологическом контексте конца XVIII и первой половины XIX вв репутация медицинской профессии определяется отношением к Европе и, соответственно, к тем мировоззренческим новшествам, которые с нею связываются.

В исторической ретроспективе общественной мысли России такие новшества расцениваются прежде всего как очевидные свидетельства девальвации традиционных представлений о смерти, отношения к покойному и вообще к человеку. И в литературе и в фольклоре среди устойчивых характеристик врача, помимо того, что он иностранец, указывается на его цинизм, скептицизм и т. д. Имея дело по роду своей профессии с человеческим телом, врач-иностранец оказывается тем самым как бы изначально чужд, с одной стороны, всему «русскому», а с другой, – всему, что имеет отношение к душе (особенно – «русской душе») и духовности. Замечено, например, что даже в тех произведениях русской литературы, где врач изображается положительно, в семейной жизни он несчастлив и лишен любви (Неклюдова 2001: 363-364). Знание о теле и знание о душе противоречат друг другу. Разбираясь в трупах, врач не разбирается в людях.

Риторическое противопоставление тела и души в истории европейских литератур имеет, несомненно, прежде всего религиозную предысторию, истоки которой можно видеть уже в патристических сочинениях. Вместе с

тем, интеллектуальный радикализм этого противопоставления берет свое начало, по-видимому, только в философии Декарта (1596-1650), сделавшего из христианско-догматического противопоставления телесного и плотского инновативный в *методологическом* отношении вывод о наличии не зависящих от человеческого сознания «механизмов» человеческого тела. В *Рассуждении о методе* (1637) критерием онтологической самоидентификации Декарт, как известно, объявил сознание (*cogito ergo sum*), но уже тем самым «деонтологизировал» тело – парадокс, который философия нового времени не преодолела по сей день. Онтологическая неотъемлемость сознания стала аргументом в пользу феноменологии, по отношению к которой сознание оказывается равно излишним и недостаточным: тела оккупируют коллективное пространство, но в этом пространстве нет места коллективному сознанию. Сознание – индивидуально, а тело – публично (Ryle 1949: 16ff.). Декартовское сравнение человеческого тела с часами стало при этом первой из длинного ряда научно-философских, медицинских, а также литературных метафор, определивших собою понимание человека как функционально самостоятельного образования, природного механизма (Samson 1999: 10).⁵ Существование тела, хотя и определяется божественным промыслом, является по отношению к сознанию заведомо вторичным. Телесная механика свидетельствует не о цели, но лишь о средствах божественной креативности.⁶ Значение «механистической» терминологии, соответствующей картезианскому представлению о человеческом теле, стоит оценить как с исторической, так и эпистемологической точки зрения. Очевидно, что не только понимание, но и ощущение человеком собственного организма по сей день определяется аналогиями из области механики и техники.⁷ Вместе с тем, сколь бы традиционными и само собой подразумеваемыми подобные аналогии не представлялись сегодня, еще в самом конце XVIII века они осознаются как инновативные и риторически актуальные (так, Руссо будет видеть смысл анатомических занятий именно в том, чтобы судить о количестве и

⁵ Интригующим примером «буквализации» декартовской метафоры в истории русской медицины может служить внутренняя организация Аптекарского Приказа в середине XVII века: Приказ объединял докторов, лекарей (т. е. хирургов), аптекарей, окулистов, цирюльников, рудометов, костоправов, под-лекарей и *часовых дел мастеров*, которые «почему-то также числились в ведомстве Аптекарского приказа» (Загоскин 1891: 31).

⁶ Об интересе самого Декарта к анатомии и физиологии можно судить уже по тому вниманию, с которым он отнесся к учению Гарвея о кровообращении. Будучи одним из первых, кто признал учение Гарвея, Декарт подробно излагает его в своем *Рассуждении о методе*.

⁷ «Невозможно даже представить, – восклицает современный исследователь, – каким вообще было наше ощущение сердца, до тех пор пока мы не узнали, что такое насос» (Miller 1978: 10).

работе отдельных «деталей», составляющих «телесную машину»: Herzlich, Pierret 1987: 91; Lupton 1994: 59-60).

Целесообразие телесной феноменологии открывается ученому благодаря измерительным и исчислительным процедурам наблюдения. Эталоном такого наблюдения, позволяющего увидеть и «исчислить» многообразие природных процессов в единстве их динамического взаимодействия, для ученых конца XVII и почти всего XVIII века считалась физическая теория Ньютона (1643-1727). Убеждение в том, что физика Ньютона может быть согласована с философией «опытного» знания, является в XVIII веке едва ли не общепринятым (Dampier 1968: XVI-XVII). Постулируемая Ньютоном гармоническая взаимосвязь физического мира была одновременно радикальной апологией методологического индуктивизма: наблюдение видимого выявляет скрытое и, тем самым, объясняет само видимое. Пафос индуктивного миропонимания вдохновляет при этом не только ученых, но и поэтов – так, например, «Оптика» Ньютона позволяет увидеть во взаимоотражении частных гармонию общего, в индивидуальном поведении – выражение общественного поведения (Nicolson 1946; Markley 1993). В медицинской практике результатом соответствующей методологии становится диагностика внутренних болезней по внешним телесным знакам – сила кровотока или биение пульса свидетельствуют не только об особенностях кровообращения, но и о тех болезнях, на которые эти особенности указывают. В общественном мнении новизна подобной диагностики приживается, впрочем, не без труда – для «здорового смысла» медицинский индуктивизм не менее сомнителен, чем спекулятивные теории традиционной медицины. Антиох Кантемир будет высмеивать подобное «здравомыслие» в своей первой сатире *На хулящих учение* (1729/1730, первая публикация 1762) – в монологе старовера, упирающего в оценке современной медицины прежде всего на недоказуемость ее индуктивных методов:

Трав, болезней знание, голы все то враки;
Глава ль болит? Тому врач ищет в руке знаки;
Всему в нас виновна кровь, буде ему веру
Дать хочешь. Слабеет ли, кровь тихо чрезмеру
Течет; если спешно – жар в теле, ответ смело
Дает, хотя внутри никто видел живо тело (Кантемир 1956: 58).

В комментариях к тексту Кантемир поясняет сказанное: «Докторы, желая узнать силу болезни, щупают в руке больного ударение жилы, от чего познают, каково течение крови и, следовательно, слабость или жестокость болезни». Стих «Внутри никто не видел живо тело» означает, что «хотя анатомисты и знают тела состав и состояние, однако (как думает высмеиваемый автором оратор, – К. Б.) нельзя от того рассуждать о тех неполадках,

которые в живом человеке случаются, понеже еще никто не видал, каково есть движение внутренних органов» (Кантемир 1956: 64).

Эффект диагностических инноваций, связанных с распространением индуктивных методов исследования, в истории медицины трудно преувеличить. Одним из мировоззренческих новшеств в применении новых методов к объяснению тела в медицинской науке явилось, в частности, осознание важности вивисекций – необходимость наблюдения, говоря словами того же Кантемира, «каково есть движение внутренних органов». Стратегия новой «пост-ньютоновской» анатомии и физиологии – исследование телесных «деталей» в объяснении определяющих принципов и механизмов жизнедеятельности человеческого организма. Переехавший на жительство в Россию и возглавивший в 1767 году кафедру анатомии Петербургской Академии наук Каспар Фридрих Вольф (1734-1794) сформулирует эту задачу как отправную для теории зарождения:

В научной работе, объясняющей органические тела из их основных начал с точки зрения их органического строения, едва ли не становится неизбежным, чтобы вместе с тем не вскрылось само собою, в каких отношениях стоят они к своей собственной организации, какие именно из наблюдаемых в них же самих функций свойственны вообще естественным телам и вследствие каких функций им приписывается жизнь. Короче говоря, каким образом в естественных органических телах связаны между собой жизнь и машина? Зависят ли они обе от одной общей причины или обуславливают одна другую? И раз это так, каково действие жизни на машину и машины – на жизнь? (Вольф 1950: 19).⁸

Анатомическое строение человеческого тела оказывается, под таким углом зрения, результатом процесса, который должен быть рассмотрен ретроспективно. То, что прежде казалось изменяющимся в соответствии с некоторыми количественными показателями (возрастом, весом, ростом, внешним воздействием), получает качественное измерение – развитие «телесной машины» объясняется отныне зависящим не только от замысла ее создателя (Господа Бога), но и от обстоятельств, сопутствующих самому ее созданию. Особое внимание при этом уделяется анатомическим девиациям – отклонениям от божественного замысла и антропологической нормы. В

⁸ «В анатомии мы опытным путем изучаем состав и структуру органического тела. Но мы не можем дать объяснения ни этому составу, ни этой структуре; мы знаем только, что они таковы-то, и ничего более. Тогда на помощь анатомии приходит, с одной стороны, учение о зарождении, принципиально освещающее то, что мы исторически узнали из анатомии. С другой стороны, анатомия встречается с физиологией, объясняющей действия, свойственные органическому телу. Физиология стоит к анатомии совершенно в таком же отношении, как королларий /т. е. следствие, выводимое из доказательства теоремы, – К. Б./ к теореме, из которой он выведен; моя же теория относится к анатомии как доказательство теоремы к самой теореме» (Вольф 1950: 242-243).

Европе изучению таких девиаций способствовала существовавшая уже с эпохи Возрождения традиция музейных Wunderkammern – собрания природных диковинок, включавших, в частности, образцы органических и анатомических уродств (Schlosser 1978; Lugli 1983; Bredenkamp 2000). Купленная Петром коллекция Рюйша, положенная в основу Санкт-Петербургской Кунсткамеры, была именно таким собранием. Сам Петр преследовал своей коллекцией пропагандистскую и, по-видимому, отчасти «перформативную» цель – шоковый эффект, вызываемый терратологическим собранием Кунсткамеры, кажется в некотором смысле релевантным «шоковому эффекту» самого Петровского правления (Alempone 17-19).⁹ Собрание Кунсткамеры имело, однако, и то собственно научное значение, что оно положило начало эмбриологическим исследованиям в России (Blyakher 1982: 89-104). Симптоматично при этом, что как в Европе, так и в России специализация эмбриологических исследований инициировала теологические споры. О сути последних можно судить уже по тексту одного из указов Петра (указ от 13 февраля 1718 года), обязывавших привозить в столицу терратологические «экспонаты»:

Понеже известно есть, что как в человеческой породе, так в зверской и птичьей случается, что рождаются монстра, т. е. уроды, которые всегда во всех государствах собираются для диковинки, чего для перед несколькими летами уже указ сказан, чтоб такие приносили, обеща платить за оные, которых несколько уже и принесено, а именно: два младенца, каждый о двух головах, два, которые срослись телами. Однакож в таком великом государстве может более быть, но таят невежды, чая, что такие уроды рождаются от действия дьявольского, чему быть невозможно, ибо един Творец всея твари Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет; но от повреждения внутреннего, также от страха и мнения матерняго во время бремени, как тому есть многие примеры: чего испужается мать, такие знаки на дитяти бывають; также, когда ушибется или больна будет, и проч. (Пекарский 1861: 53-59).

Объяснение терратологических явлений в идеологическом контексте эпохи было, как это уже видно из приведенного текста, отнюдь не бесконфликтным. На фоне телесных уродств постулат об анатомической «безошибочности» Божественного промысла так или иначе нуждался в идеологических коррективах (О познании творца 1760: 471-478; Vickers 1997: 7; Rowe 1997: 288). Указ Петра вносил такие коррективы декларативно, но, конечно, не отменял традиционного представления об уродстве как результате «дия-

⁹ Идеологическая злободневность соответствующей рецепции в контексте российской истории просто поразительна – показательно, например, что автор монографии о Кунсткамере, написанной в советские годы, оценивает интерес Петра к анатомическим девиациям негативно уже потому, что интерес этот связан с Западом: «Повышенный интерес к монстрам, или уродам, был заимствован Петром I из-за границы. /.../ Петр I также отдал дань этому нелепому увлечению» (Станкович 1953: 42).

вольского действия», вмешательства нечистой силы. Даже для читателя XIX века не возникало вопроса, почему, например, в *Сказке о царе Салтане* А. С. Пушкина (1831) царь, узнавший о рождении у него невиданного монстра («Родила царица в ночь / Не то сына, не то дочь; / Не мышонка, не лягушку, / А неведому зверюшку») (Пушкин 1948: 508), повелевает казнить его вместе со своею женой – намек на то, что царевна «наставила царю рога» в данном случае только буквализует фольклорное убеждение в том, что мать, родившая урода, вольно или невольно согрешила с чертом (позвала его по имени, поддалась «дьявольскому наваждению», допустила, чтобы черт унес настоящего ребенка и подложил ей «подмышка» и т. д.: Афанасьев 1868: 414; Мазалова 2001: 96, 148-149). Не говоря о простонародной медицине, позволявшей убивать уродов при рождении, научная оценка терратологических явлений также остается далекой от идеологической однозначности. К концу XVIII века, когда мода на терратологические собрания Wunderkammern постепенно сходит на нет, научный интерес к вопросам терратологии приобретает более или менее специализированный характер эмбриологических исследований (Вольф 1973), но сами эти исследования наделяются социологическим и даже политическим пафосом. Изумление превратностям и «ошибкам природы» уступает отныне место поиску естественно-научных причин и, вместе с тем, социальных закономерностей, которые такие ошибки исключают (напр.: Martin 1880). Если норма делает очевиднее исключения, то исключения заставляют задумываться о принципах, определяющих саму нормативность.

Актуализация проблем нормы и патологии в идеологическом контексте эпохи Просвещения имела далеко идущие последствия. Интерес к анатомическим (и вообще – медицинским) исследованиям оказывался латентно созвучным идеологической стратегии, проблематизирующей, с одной стороны, «нормативность» природных процессов, а с другой, – «нормативность» социальных взаимоотношений. Так представление о человеческом теле как о сумме работающих деталей распространяется на представление о человеческом общегитии. Если тело состоит из деталей, то можно думать, что и само тело является деталью еще более обширного тела, а именно – мира, в котором таковые тела взаимодействуют. Общество представляется механизмом, функционирование которого аналогично функционированию тела: его работа зависит от согласованности составляющих его деталей – внешних и внутренних органов (ср. выражение «член общества»), и оно так же, как и тело, подлежит «анатомическому» объяснению, медицинской заботе и, в экстренных случаях, хирургическому вмешательству. Эвристическое сравнение человеческого тела и общественного мироустройства стало началом медиализации социального – и в то же время социологизации

медицинского – дискурса. В России подобное сравнение станет привычным только к 1820 годам (выразившись, между прочим, в популярности определения заимствованным из европейских языков медицинским понятием «организм» явлений государственного и общественно-политического порядка (Веселитский 1964. 93)), но для общественной мысли Европы оно становится идеологически декларативным уже к середине XVIII века – медицинские статьи *Энциклопедии* прочитываются как общественно-политические манифесты их авторов (например, у Дидро), а моральные и философские размышления обставляются медицинскими метафорами (например, у Вольтера) (Lebrun 1983). В произведениях Руссо (почти все они, стоит заметить, были переведены в XVIII веке на русский язык) здоровое общество подобно здоровому человеку, но именно поэтому индивид, входящий в это общество, не является самостоятельным субъектом: он – член (*membre*) политического тела (*de corps politique*). Естественные права, которые дарованы человеку от природы, объединяя его с другими людьми – членами коллектива, являются поэтому также не индивидуальными, но общественными и потому оправдывающими общественную диктатуру (Лотман 1967: 214 след.).¹⁰ В риторике Французской революции, творцами которой в конечном счете становятся именно читатели *Энциклопедии* и Руссо¹¹), соотнесение медицинских и социологических понятий предстает уже дискурсивно оформленным и – в определенной смысле – реализованным на практике. В глазах современников символом такой практики служит новшество, обязанное своим изобретением профессору анатомии и названное его именем – гильотина (1789). Теперь выясняется, что для оздоровления общества власть может просто «ампутировать» его больные органы – головы тех, кто представляет угрозу обществу и революции.¹²

Дискурсивное сближение анатомии и революции можно считать символическим как в политическом, так и в собственно научном плане. Философские, общественно-политические и медицинские идеологемы эпохи

¹⁰ В России «медико-политическая» терминология Руссо находит своего популяризатора, в частности, в Фонвизине. В *Рассуждении о непременных государственных законах* Фонвизин, вслед *Общественному договору* Руссо, пишет о дворянстве, которое должно «корпусом своим представлять нацию» (Фонвизин 1959: 265. См. также: Лотман 1967: 250-253).

¹¹ Один из таких «читателей» – Марат – был не только врачом по образованию, но и автором специальных медицинских исследований: Riguez 1908.

¹² Замечательно, что Жозеф Гийотин специально подчеркивал простоту и медицинскую эффективность своего изобретения (*un simple mécanisme*), избавлявшего жертву от излишних страданий. Вопрос о том, насколько болезнен и, соответственно, анатомически «гуманен» процесс гильотинирования, будет занимать французских врачей и впоследствии (Janes 1993: 252).

Просвещения воспринимались современниками как взаимосвязанные. Авторы *Энциклопедии* и Руссо реабилитировали в общественном мнении человека-машину, физическую механику социальной жизни (Duschesneau 1982; Binet 1952: 185—193), события французской революции придали этой реабилитации политический контекст,¹³ но та же реабилитация результировала активизацию и собственно научных исследований в области анатомии, патологоанатомии и физиологии.

Спустя десятилетия после «ренессанса» анатомических и патофизиологических исследований в Европе (связываемого здесь в первую очередь с именами Джовани-Баттиста Моргани, Альбрехта фон Халлера, Джона Хантера, Ксавьера Биша) в России распространение медицинского и, в частности, патологоанатомического знания вызывает прежде всего идеологические опасения. Поучительным в этом отношении эпизодом в истории отечественной медицины может служить высочайшее повеление Павла I (1797 года) «об изъятии некоторых слов и замене их другими». Среди неустраивавших императора слов, имевших несомненно инновативные общественно-политические коннотации («общество», «гражданин», «отечество» и др.) в указе называлось и слово «врач» – слово исконно русское, но также ассоциировавшееся с европейской политической мыслью и революционной фрондой (Глинка 1871: 531-532; Скабичевский 1892: 84),¹⁴ Характерно, что вместо «врача» повелевалось употреблять старинное, но стилистически гораздо более низкое слово «лекарь».¹⁵ Более того, пополнение самих медицинских кадров, по замыслу Павла, должно было осуществляться за счет духовного сословия. Именным указом от 28-го августа 1797 года духовные семинарии должны были ежегодно отпускать до 50-ти воспитанников в медицинские заведения. Прием в Медико-хирургическую

¹³ Политическая метафорика медицинского знания получит свое развитие, в частности, в кружке Новалиса, считавшего возможным описывать любую болезнь в терминах революции (Anz 1990: 137-138). Схожий образ находим у Ксавьера Биша: здоровье – это «тишина органов», болезнь – их мятеж (Sontag 1990: 44). В русском языке аналогичная синонимия связывается со словом «кризис», употреблявшимся первоначально только в сфере медицины, но к 1830-м годам получившим также общественно-политическое значение, которое к 1860-м годам становится общепринятым (Веселитский 1964: 93).

¹⁴ А. С. Пушкин вспомнит этот указ в *Послании цензору* (1822): «Стариной глупости мы праведно стыдимся, / Ужели к тем годам мы снова обратимся, / Когда никто не смел отечество назвать, / И в рабстве ползали и люди и печать?» (Пушкин 1947: 270; Виноградов 1938: 193).

¹⁵ По допетровской иерархии Аптекарского приказа звание лекаря было средним между званиями доктора и аптекаря (Загоскин 1891: 57 след).

академию дозволялся также риторам, философам и богословам духовных училищ по их собственному желанию. Святейший Синод, по представлению Медицинской коллегии, предписывал училищному начальству увольнять таких желающих беспрепятственно, а Медицинское управление облегчало им экзамен в академию, заложив основы рекрутирования медиков из, как казалось властям, наиболее благонадежных в идеологическом отношении социальных слоев населения (Знаменский 1881: 597). Два десятилетиями позже, уже при Александре I, Ученый комитет, созданный при реорганизованном министерстве духовных дел и народного просвещения (царский манифест 24-о окт. 1817 г.) и ведавший утверждением книг и ученых пособий, руководствуется инструкцией, специально подчеркивающей: «Комитет обязан наблюдать, чтобы в руководства по физиологии, патологии и сравнительной анатомии не вкрадывалось учение, низвергающее духовный сан человека, внутреннюю его свободу и высшее предопределение к будущей жизни» (Сухомлинов 1889b: 197).

Практическое приложение анатомических и физиологических знаний и, в частности, паталогоанатомическое вскрытие умерших оказывалось в этом контексте, естественно, не только – и даже не столько – научной, сколько идеологической проблемой. Н. И. Пирогов вспоминал в старости время своей учебы – 1820-е годы, «когда хоронились на кладбищах с отпеванием анатомические музеи (в Казани, во времена Магницкого) и когда был поднят в министерстве народного просвещения или в министерстве внутренних дел вопрос: нельзя ли обходиться при чтении анатомических лекций без трупов» (Пирогов 1916: 409. См. также: Grmek 1970: 312).¹⁶ Упомянутый Пироговым Михаил Леонтьевич Магницкий, бывший с 1819 по 1826 год попечителем Казанского учебного округа, в составленной им «Инструкции ректору» Казанского университета (утвержд. 17-о января 1820 г.) обязывал профессоров врачебных наук «принимать всевозможные меры, дабы отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подвергались от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм именно от того, что наиболее премудрость Божию открывает; студенты должны быть предостережены на счет сего ужасного заблуждения» (Загоскин 1894: 7-8). По проекту цензурного устава 1823 года, написанному тем же Магницким, цензура Медико-хирургической ака-

¹⁶ Директор Казанского университета Владимирский, настаивая на погребении тел, хранившихся при анатомическом театре, взывал к христианским добродетелям и народным традициям: «Здесь торжественно издеваются над прахом усопших, чего и язычники не делали. Нет пощады народным уважениям, трепещет христианское сострадание: какое же впечатление воспитанникам и какое зрелище для тех, кои и без того почитают медицину варварской наукою?» (Сухомлинов 1889: 229).

демии объединялась с комитетом общей цензуры, обязанным отныне рассматривать медицинские сочинения «в отношении нравственном» – ибо «могут ли не подлежать строжайшему надзору творения медицинские, в коих рассуждения о действиях души на органы телесные и о возбуждении в теле различных страстей подают обильные способы к утверждению материализма самым косвенным и тонким образом?» (Сухомлинов 1889а: 468).

В 1826 году составленный Главным правлением училищ под руководством министра народного просвещения адмирала Шипкова и высочайше утвержденный цензурный устав выделил медицинские науки в особый параграф (§ 193), предписывая следить, «чтобы вольнодумство и неверие не употребило некоторые из них орудиями к поколебанию или по крайней мере к ослаблению в умах людей неопытных достоверности священнейших для человека истин» (Скабичевский 1892: 215).

Пусть и запоздалые для своего времени страхи Магницкого не были случайными. Схожие опасения будут высказываться и позже, и не только в России.¹⁷ Идеологизация медицинского знания определялась, конечно, не только символическими ассоциациями, делавшими медицину и, в частности, анатомию сферами знания, репрезентировавшими политическую мысль и социальную практику европейского Просвещения, но и теми инновациями, которые дискутировались в рамках самой медицинской науки.

Предшествующая Просвещению традиция европейской медицины, восходящая к Гиппократу и Галену, в целом акцентирует постоянное и структурное (строение скелета, систему костей, внутренних органов, кровеносных сосудов). Здоровье и болезни человеческого организма объясняются комбинаторикой факторов, зависящих от взаимодействия постоянных природных элементов и составляющих их свойств. Такие элементы, или «стихии» – воздух, огонь, земля, вода, и состоящие их свойства (влажность, тепло, холод и сухость: так, вода – это композиция влажности и холода, огонь – сухости и теплоты и т.д.) – взаимодействуют между собою и определяют как само функционирование, так и характер любых природных процессов. В человеческом организме четырем элементам и их свойствам соответствуют четыре показателя – четыре жидкости (гуморы): кровь, желтая желчь, черная желчь и флегма. Состояние организма результирует баланс исходных

¹⁷ Так, например, Шлейермахер, один из крупнейших деятелей в истории протестантизма, будет писать в 1829 году к Люкке: «Если вы посмотрите на современное состояние естествознания, как оно все больше и больше охватывает своими пронизательными исследованиями весь мир, – что тогда можете вы предчувствовать на счет будущей участи – не хочу сказать богословия, а нашего евангельского христианства? Мне сдается, что нам придется отказаться от многого, что многие привыкли мыслить как нечто неразрывное с сущностью христианства» (Немецкая интеллигенция 1875: 111).

элементов, причем для разных людей такой баланс является разным и зависящим от доминантной роли одного из гуморов: различаются люди с преобладанием гумора крови (сангвиники), желтой желчи (холерики), черной желчи (меланхолики) и флегмы (флегматики).¹⁸ В «Философическом рассуждении о душе», опубликованном в 1782 году в журнале *Вечерняя Заря*, русскому читателю объяснялось, что телесное строение и различие психологических темпераментов определяется при этом прежде всего кровообращением («1) Какая иль из чего кровь? 2) Сколь скоро или медлительно обращается? 3) По каким и коликим каналам?»):

У некоторых сложение (т. е. кровообращение – К. Б.) так порядочно расположено, что оно ни очень жарко, ни холодно, но посредственно: такие бывают искренни, верны, приятны, дружелюбны, чувствительны, щедры, мягкосерды, благотворительны, говорливы, веселы, беспечны, неустрашимы, забывчивы, роскошны и при всем том превосходного разума; они ростом высоки и толсты, и потому нежны и горячи в чувствованиях; но как они имеют много крови, потому маленькие жилочки делают на лице их приятный румянец. Их кровь довольно умеренно и медленно обращается, почему и есть ни густая и не жидкая, и как они многокровны, то и называют их *Сангвиниками*. /.../ У других сложение гораздо скорее, жарче и горячее, и такие люди весьма живы, проворны, нетерпеливы, непостоянны, чувствительны, подозрительны, сердиты, самолюбивы, смелы, дерзки, болтливы, немилосерды, торопливы, лукавы, способны и остроумны, в решении дел не спешат, но делают их с размышлением; они имеют сухощавое тело с великими жилами; на лице у них краска темная и имеют также весьма красную жидкую и скорую кровь. Почему и самая безделка может их рассердить; они имеют твердое и потому нечувствительное тело; а поелику в них много желчи, то и называются они *Холериками*. /.../ У третьих сложение холоднее, и медленнее, по чему они задумчивы, глубокомысленны, постоянны, медлительны в своих намерениях, боязливы, подозрительны, толкуют все в худую сторону, скупы, в несчастьях чрезвычайно печальны, в счастии же и при успехах в своих намерениях веселы, самое маловажное дело заставляет их много думать; проницательны, сердиты, скрывают то, что знают; мстительны, непримиримы, тихи, прилежны; трудолюбивы, разумны, молчаливы, и никому не открывают своих намерений, тело у них сухощавое с великими жилами, на лице бледны, чувствительны, кровь имеют густую и черную и называются *Меланхоликами*. /.../ У четвертых, наконец, сложение холодновато, ленивого и медленного свойства; они из всех слабейше разумом и рассуждением; нрав у них свиной, ленивы, непорядочны, скучливы, медлительны, сонные, нежны, хилы, и как бы женщины расслаблены, роскошны, непостоянны, боязливы, лице имеют несколько бледное и смуглое, жилы на теле у них малые, мягкосерды; кровь имеют густую, мокротную и водяную и потому называются *Флегматиками* (Философическое рассуждение о душе 1782: 94-98).

Излагаемая в данном случае психологическая теория темпераментов описывает последние как предзаданные определенностью телесного строения и соответствующего ему механизма («сложения») кровообращения. Челове-

¹⁸ Подробно о гуморальной теории и ее роли в становлении новоевропейской науки см: Neuburger 1910: 124-160; Sigerist 1961: 317-333; Osler 1923: 118-125.

ческие тела и человеческие характеры, хотя и отличается между собою, редуцируются к определенным анатомическим и психофизиологическим типам. Сравнительное постоянство таких типов делает их при этом, как показывает и вышеприведенный пассаж из *Вечерней Зари* (в оригинале включающий также афористические эпиграммы и анекдоты, поясняющие различие человеческих характеров), удобным объектом портретирования – показательно, что традиция такого портретирования, восходя к античности («Характеры» Теофраста), получает свое развитие именно тогда, когда гуморальная теория пользуется авторитетом как у врачей, так и у их пациентов. Ценные наблюдения Эдмунда Хайера, связавшего дискурсивные приемы психологизации в русской литературе конца XVIII-начала XIX века с традициями физиогномических характеристик в духе Лафатера, могут найти для себя дополнительную поддержку, если учесть, что *Физиономические фрагменты* Лафатера сами являются иллюстрацией господствующих научно-медицинских представлений своего времени (Heier 1993). Можно думать поэтому, что усложнение типологизирующего портретирования в литературе XIX века – результат усложнения также и медицинских представлений о природе человека, его телесной и психологической организации.

В развитии гуморальной теории, полагавшей причины болезней априори неизменными, а средства лечения универсальными (основным из таких средств было кровопускание), анатомия и физиология конца XVIII века начинает обращать внимание на то, что изменчиво и варитивно, – на мышечные ткани, мембраны, слизистые оболочки (Keel 1981: 189-207). Принципиальным шагом в этом направлении стали работы французского анатома Ксавьера Биша (1771-1802) *Трактат о мембранах (Traité des membranes, 1800)*, *Общая анатомия (Anatomie générale, 1801)*, *Исследования о жизни и смерти (Recherches sur la vie et la mort, 1801)*, с именем которого историки науки связывают возникновение новой анатомической дисциплины – гистопатологии (подробно о Биша и о научном значении его исследований см: Maulitz 1987. См. также: Фуко 1998, гл. 8). Биша воспользовался достижениями своего знаменитого современника Жоржа Кювье (1769-1832) в сфере сравнительной анатомии животных, уделявшего специальное внимание изучению структуры телесных тканей, и наблюдениями клиницистов на предмет патофизиологических изменений в телах умерших больных. Наблюдая за тканями тел животных, умерших в процессе или вследствие вивисекции, Биша заключил, что смерть, вызванная различными способами, проявляется по разному также на физиологическом уровне – в разных случаях умирающий организм ведет себя различным образом. Констатация смерти предполагает поэтому констатацию не только

априори разных причин смерти, но и определение разных выражающих эти причины физиологических признаков. При внимании к таким различиям само наступление смерти рисовалось, по Биша, телесно «децентрализованным» и поливалентно синхронизируемым явлением. Обнаружилось, что у смерти есть не только клиническая (пред)история, но и индивидуализируемая топография.¹⁹

Открытие многообразия патофизиологических изменений, наблюдаемых в умирающем человеческом теле, проблематизировало сам принцип гуморальной каузальности – веру в то, что строение, здоровье, болезнь, а значит и жизнь самого тела определяются неизменными физиологическими факторами. Внимание к тканям человеческого тела требовало к тому же иной концептуальной терминологии, нежели понятие «гумора», и иных методов изучения организма. В конце XVIII–начале XIX века возможности таких методов в медицине были уже существенно расширены благодаря усовершенствованию микроскопа. Начиная с исследований Мальпиги (1661), применившего микроскоп при изучении кровообращения, микроскоп постепенно приобретает для физиологии и анатомии значение, сравнимое со значением телескопа в астрономии. Работы Гука (*Микрография, или Описание малых предметов*, 1667) и, особенно, Левенгука (четыре тома *Arcana naturae ope microscopiorum detecta – Тайны природы, открытые при помощи микроскопа*, 1695–1719) подтверждают это значение важнейшими открытиями в области строения растений и органических тел (открытие растительных клеток, волокнистого строения нервов и хрусталика глаза, обнаружение самостоятельно движущихся существ в человеческом семени и красных телец в крови). Важно отметить при этом, что помимо собственно научных открытий, результатом микроскопических исследований в сфере физиологии и анатомии стала принципиальная «перефокусировка» самого исследовательского внимания от «больших» к «малым» объектам органического мира. По справедливым словам Даннемана, оценивающим роль микроскопа в контексте «спокойной созидательной работы» XVII века и научной революции конца XVIII века, значение микроскопических наблюдений состояло в расширении самой способности видения: «Благодаря употреблению микроскопа настолько развились тонкость зрения и тщательность наблюдения, что научились различать даже невооруженным глазом

¹⁹ Во Франции, благодаря работам Эммануэля Фодере и Матью Орфила, исследования Биша станут отправными для теории и практики судебно-медицинской экспертизы. Поскольку смерть вызывается разными причинами и в каждом случае проявляет себя различным образом, постольку установление причин смерти определяется совокупностью патологических изменений организма, суммой телесных признаков. Взятые порознь такие признаки – ненадежны (Orfila 1813: 343–373).

такие предметы, которые прежде совершенно ускользали от наблюдения» (Даннеман 1935: 294). Можно сказать, что в окуляре микроскопа тело становится тем, что теряет свою статичность и свою универсальную масштабируемость. В 1823 году изобретение ахроматических линз²⁰ станет еще одной вехой в процессе визуального «распространения» мира. Исследователь видит больше, чем он видел прежде – и это большее искушает еще большим и вечно новым.²¹

Не удивительно, что раздражавшее Магницкого «удивление превосходству органов и законов животного тела» в 1820 годы владеет умами многих «знатнейших медиков». В России одним из таких медиков был И. В. Буяльский, автор капитальных «Анатомико-хирургических таблиц» (1828), много лет возглавлявший кафедру анатомии хирургической академии. Анатомические исследования, по Буяльскому, делают очевидной поразительную «изменчивость человеческого тела»:

Все части тела нашего, как жидкие, так и плотные и твердые, начиная с минуты рождения или, лучше сказать, с минуты зачатия и до самой смерти, беспрестанно изменяются в объятности, форме, строении и пр. <...> В нас происходит внутреннее и беспрестанное движение, посредством которого наши органы, по-видимому, с одной стороны, тратятся и разрушаются, а с другой, вознаграждаются и приобретают новую силу. Это возобновление наших составных начал составляет одно из главных действий жизни, или даже, можно выразить, – составляет самую жизнь (Буяльский 1844: 148).

Свидетельства изменений, происходящих в человеческом теле, были аргументом, не исключавшим, но так или иначе проблематизировавшим религиозную и философскую веру в определении и понимании человеческой природы. Теологическое понятие «души» уже в эпоху Просвещения находит

²⁰ Пробразом современного микроскопа является модель, изготовленная в 1590 году голландским мастером Захарием Янсенсом. Микроскоп Янсена оставался практически неизменным до технических открытий конца XVIII – начала XIX века. Микроскоп с ахроматическими линзами был изготовлен братьями Шевалье (Pfeiffer 1985: 6, 7).

²¹ Об энтузиазме современников, возлагавших на микроскоп далеко идущие надежды, можно судить по поэтическому трактату о микроскопе Джорджа Адамса (*Essays on Microscope*, 1787). Этот энтузиазм не угасает и позже. В 1838 году Белинский в рецензии на Уголино Полевого начинает свой разбор сочувственной цитатой из натурфилософского трактата, в котором микроскоп объявляется вящим свидетельством всеприсутствия духа в природе: «Во всяком естественном произведении организация простирается в бесконечность. Она не снаружи его только: она проникает всю его внутренность. /.../ Этого различаются произведения природы от произведений ремесла. Самая тончайшая ткань является грубыми, перепутанными веревками, как скоро посмотрите в нее в микроскоп». Далее критик сравнивает микроскоп с «верным и глубоким чувством изящного» в искусстве, заставляющим художника и литератора стремиться к беспредельной «конкретности» жизни (Белинский 1953: 437-438).

синонимию в понятиях, призванных устранить очевидный парадокс картезианской дихотомии сознания и тела – противоречие между постулатом об автономии души и тела и принципом Галеновской медицины (не отвергавшимся Декартом) о воздействии эмоций (resp. сознания) на тело. В согласии с индуктивизмом Ньютона, пусть даже и механистическое, понимание человеческой природы так или иначе требовало допущения связи, существующей, с одной стороны, между согласованной работой «телесной машины», а с другой, – тем, что определяет согласованность ее работы. Понятийным определением такой связи для медиков эпохи Просвещения служит понятие «анимизм» (термин, предложенный в начале XVIII века Сталем) и, позже, сменившее его (в работах медиков «школы Монпелье») понятие «витализм» (Maulitz 1987: 14-15). Оба эти понятия, при всем их различии, обозначают силу, ответственную за согласованное целесообразие телесных функций (например, за то, что во рту выделяется слюна, а в желудке – желудочные соки). Организм живет благодаря сопротивлению, которое оказывает «анимизм» и «витализм» инерции умирания. Сила этого сопротивления различна, но существование самой жизненной силы универсально, поэтому дело анатома – выявлять физиологические механизмы, определяющие подобные различия в соотношении с предполагаемым универсализмом природного и – шире – космологического целесообразия. Человеческие тела очевидно демонстрируют свою антропологическую общность, но в глазах анатома такая демонстрация отныне реализуется не столько на уровне обобщенной телесной статуарности (как это предполагалось, например, в эпоху Ренессанса формулой телесной гармонии), сколько на уровне латентных физиологических детерминант – будь то жизненная сила или, как называл ее Биша, «животная активность». Позитивистский пафос дискретного анализа (этимология понятия «анатомия» оказывается здесь вполне говорящей – «рассечение», «разъединение» на составные части) опосредуется поэтому синтетическим (и индуктивным) априоризмом взаимосвязи, целостности, природного единства, «сочувствия» разноименных частей мироздания, а натуρφилософский интерес к загадкам смерти и жизни предстает при этом равно позитивистским и мистическим.

В европейской литературе замечательным выражением такого интереса стал шедевр Мэри Шелли – роман *Франкенштейн* (1818). Создавая человекообразного монстра из останков человеческих тел, Франкенштейн выступает в романе одновременно в роли врача-анатома и Господа Бога, реформирующего косную телесную материю с тем, чтобы «продлить» ее органическое существование. Монструозность полученной креатуры является, однако, вполне демонической (отсылая к традиционным представлениям об уродках как порождениях дьявола – см. об этом выше), а само

анатомирование – сатанинской или, по меньшей мере, колдовской практикой. Смерть в романе обратима. Комбинаторика тканей и органов оживотворяет «совокупную» телесность их доноров и суммируется в нечто, что равно является телом и трупом, человеком и не-человеком. С. Фасбиндер, исследовавший роман Мэри Шелли в контексте научного и, в частности, медицинского знания современной автору эпохи, подчеркивает важность этого контекста для самой Шелли и для ее первых читателей (Vasbinder 1976; Chapple 1986: 35-36).²² При своем появлении роман Мэри Шелли читается теми, для кого соответствующий контекст действительно важен, – не удивительно, что в России одним из таких читателей был князь В. Ф. Одоевский, написавший на роман рецензию (*Московский вестник*, 1827. Ч. 3. С. 179-181).²³ Прочитанный с оглядкой на научно-медицинские пристрастия своего времени *Франкенштейн* предстает созвучным прежде всего интересам современников в сфере исследований «животного электричества» (о котором говорит и сама Шелли в предисловии ко второму изданию романа в 1831 году) – явления, открытого в конце 1780-х годов благодаря опытам болонского врача Луиджи Гальвани.

Открытию Гальвани предшествовало случайное наблюдение, что свежепрепарированная ножка лягушки начинает сокращаться каждый раз, когда ее нервов касаются металлическим предметом, а поблизости от нее происходит электрический разряд. После пионерской работы Гальвани (*De viribus electricis in motu musculari*, 1791), закрепившей за описанным в ней явлением название «гальванизма», европейские физиологи проводят многочисленные эксперименты, проверяющие вывод, сделанный самим Гальвани, о том, что спазматические сокращения мышц лягушки resultируют не индуцирование их током извне (правильность этого мнения позже докажет Вольта), а электричество, вырабатывающееся в самом теле лягушки. Научный и общественный эффект, произведенный открытием Гальвани в интеллектуальном контексте Европы своего времени, трудно переоценить. Полувеком позже Буа-Раймон, оглядываясь на еще памятные для его современников события, напишет, что

воление, вызванное появлением книги Гальвани среди физиков, физиологов и врачей, можно сравнить лишь с бурей, появившейся в то же самое время на политическом горизонте Европы. Повсюду, где только имелись лягушки и где только

²² О символической продуктивности романа Мэри Шелли в истории общественной и политической мысли Европы XIX века см.: Baldick 1987.

²³ В 1834 году в «Сыне Отечества» в статье, переведенной из *Revue Britannique* «Об историческом романе во Франции и Англии», отмечалось: «У мистрис Шеллей есть романы, например, Франкенштейн, которые очень стоят самых странных произведений французской литературы» (*Сын Отечества*. 1834. Часть XLVI. № 51. С. 614).

можно было раздобыть два куска разнородного металла, всякий хотел собственными глазами убедиться в чудесном воскрешении отрезанных членов» (Даннеман 1938: 176).

Опыты над лягушками вскоре были продолжены в опытах над человеческими телами. Использование электричества в медицинской практике имело свою предысторию. Способность электрического разряда вызывать в животном организме определенные физико-химические изменения была известна и раньше. В середине XVIII века эту способность специально изучают Пристли и Ван-Труствик (заложившие своими исследованиями основы современной электрохимии). Важнейшим открытием в данном случае стало изобретение в 1745 году фон Кляйстом так называемой лейденской банки (банка с водой, в которую помещался наэлектризованный трением металлический стержень). Прикосновение к такой банке вызывало электрический удар – эффект, породивший, помимо прочего, медицинские надежды на то, что воздействие электричества может быть полезным при лечении некоторых болезней. Надежды эти прежде всего касались парализованных больных: таким больным предписывали «электрическую ванну», для чего их помещали на изолирующей подставке и заставляли прикасаться к кондуктору электрической машины (Даннеман 1938: 32). В глазах современников этих экспериментов электричество оценивается как некий позитивистский аналог чуда – как чудо, способное вызвать движение в обездвиженных тканях тела. С открытием гальванизма убеждение в таком чуде, а вместе с ним и просветительская идея о существовании особой жизненной силы, выражаемой понятиями «анимизма» и «витализма», стало еще более веским.

Важно заметить, что убеждению в необъяснимой или, во всяком случае, труднообъяснимой «чудотворности» гальванического электричества (и электричества вообще) в немалой степени способствовало то, что при очевидности самого явления гальванизма, исследователи-экспериментаторы конца XVIII – начала XIX века радикально расходились в объяснении причин, которыми оно вызывается. Описывая свои опыты, сам Гальвани сравнивал мышцу лягушки с лейденской банкой и предполагал, что поверхность и внутренность мышцы заряжены противоположным образом. Вольта считал, что в опытах Гальвани ноги лягушки играют роль чувствительного электроскопа, но основа электрического процесса заключается не в них, а в соприкосновении разнородных металлов. С Вольтой решительно спорил Александр фон Гумбольдт, еще один авторитет ученой Европы (в 1797-1799 гг. опубликовавший обширное сочинение о животном электричестве под заглавием *Versuche Über die gereizte Nerven- und Muskelfasser: Опыты о раздраженных нервах и мышечных волокнах*), отстаивая гипотезу, согласно

которой (и вопреки объяснению Гальвани) гальванические явления вызываются особой жидкостью, скопляющейся в животных органах.

На фоне подобных споров использование электричества в экспериментах с мертвыми телами воспринималось не столько объяснением, сколько шокирующей демонстрацией таинственных сил природы. Попытки оживления покойников при помощи (атмосферного) электричества предпринимались и до открытий Гальвани (Priestley 1772: 261 ff), но теперь интерес к подобным экспериментам несравнимо возрастает. В 1798 году Ксавьер Биша экспериментирует над трупами казненных на гильотине, отметив в своей книге, что благодаря гальванизму ему удавалось вызвать движение мышц в обезглавленных телах. В Кенигсбурге доктор Кельх электризует отрубленную голову преступника: голова открывает глаза, приоткрывает верхнюю губу, шевелит языком и делает движения, похожие на глотательные (Pfeiffer 1985: 37). В 1802-1804 годах племянник Гальвани доктор Джованни Альдини делает из подобных опытов нечто вроде публичных шоу. Альдини выступает в анатомических театрах Лондона и Оксфорда и демонстрирует зрителям поразительные эффекты гальванизации. После того как по проводнику, соединяющему ухо и рот мертвеца, был пропущен ток: «Челость начала сразу дрожать, расслабленные мышцы ужасно напряглись, а левый глаз открылся» (Aldini 1803: 382). Замыкая проводники на ухо и прямой кишке трупа, Альдини добивается еще более впечатляющего результата: тело покойника «стало неистово содрогаться и так напряглось, как будто собиралось подняться, руки встряхнулись и опали /.../ кулаки сжались и неистово колотили по столу» (Mottelay 1922: 305). Опыты Альдини и его последователей (например, доктора Дж. Карпью, пытавшегося в 1803 году публично оживить труп казненного убийцы Майкла Карни с помощью кислородного насоса и электрической стимуляции *phrenic nerve*: Mottelay 1922: 375) были широко известны в Европе – отчеты о них публиковали как научные, так и популярные журналы (Trommsdorff 1803; Mottelay 1922, 304). Сообщения о таких экспериментах печатаются и в русских журналах – таковы, например, статьи, помещенные в *Друге Просвещения* (№ 2 за 1803 год) об опытах над утопшим, «произведенным Годэном, младшим профессором шотландского лечения в Альфорте», и о случае излечения сумасшествия с помощью гальванизма (С. 161-163: статьи перепечатаны из *Journal du Galvanisme*. См. также: *Вестник Европы*. 1806. № 15. С. 199).

Использование гальванического электричества в экспериментах, подобных опытам Альдини, закрепляет за метафорами гальванизма специфически «кладбищенские» ассоциации. Тело, по которому пропущено электричество, кажется одновременно живым и мертвым. Действие гальванизма превращает его в нечто лиминальное – уже не живое, но еще и не ожившее, в труп,

противящийся смерти и разложению.²⁴ Для русского читателя портретом, построенным на таких ассоциациях, может служить описание старухи в *Пиковой даме* А. С. Пушкина (1833), кажущееся тем более знаковым, что оно предшествует описанию конца ее затянувшегося умирания: «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря не неё, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от её воли, но по действию скрытого гальванизма» (Пушкин 1948b: 240).²⁵ Схожее с пушкинским упоминание о гальванизме находим у И. Лажечникова в эпилоге *Ледяного дома* (1835): здесь полумертвую и парализованную старуху-цыганку «будто гальванической силой приподняло» при взгляде на ребенка, в котором она узнает сына казенного князя Артемия Вольнского (Лажечников 1979: 359).²⁶

Еще одной областью интересов анатомов и физиологов начала XIX века становится френология, т. е. изучение характера человека по внешнему виду его черепа, нашедшее свое теоретическое обоснование в трудах швейцарского врача Франца-Иосифа Галля (1758-1828) и его ученика и соавтора Иоганна Шпурцхайма. С анатомической точки зрения френология служила дополнительным свидетельством телесного метаморфизма. Учение Галля о зависимости свойств человеческого характера от специфики анатомичес-

²⁴ Заметим попутно, что вопреки распространенному убеждению, гальванизация не препятствует, но, напротив, способствует разложению тканей – обстоятельство, заставившее в конечном счете отказаться от широкого использования гальванизма в практике врачевания (в начале XIX века сфера терапевтического применения гальванизма простирается от расстройств слуха и мышечных болей до паралича и сумасшествия): Pfeiffer 1985: 38-40.

²⁵ Иную интерпретацию этого эпизода см. у акад. М.П. Алексеева в статье «Пушкин и наука его времени» (Алексеев 1972: 95-99). По Алексееву, в пушкинском упоминании гальванизма и, вообще, в описании предсмертной сцены в спальне графини нет «никакой таинственности, никаких намеков на французскую „нейстовую словесность“: Герман не мог быть в ней начитан» (С. 99) Ссылка на (не)читающего Германа здесь особенно замечательна – важно, однако, не то, что «читал» Герман, а то, что читал Пушкин и его современники. Тема «таинственных» экспериментов с «гальванизацией» покойников была, однако, привычной именно для произведений «нейстового романтизма» (Жана Жанена, Эжена Сю, Виктора Гюго), становящихся исключительно популярными как раз ко времени появления *Пиковой дамы* (см.: Виноградов 1929: 162-205).

²⁶ См. примеры аналогичных сравнений у Гюго: «При лязге этих страшных орудий бедная девушка вздрогнула, словно мертвая лягушка, которой коснулся гальванический ток» (Собор Парижской Богоматери. Гл. 2), «Старик выпрямился в кресле, мертвенно бледный, похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока» (Отверженные. Гл. 7). Сцена с гальваническим оживлением покойника есть также в «бестселлере» 1830-х годов – в романе Ж. Жанена *Мертвый осел и обезглавленная женщина* (русский перевод: СПб., 1831. С. 80).

кого строения человеческого мозга был достаточно революционным для своего времени, предполагая не статическую (как это может показаться сегодня), но именно динамическую картину антропогенеза. Объявляясь ответственным за все психические функции человека, мозг описывался в терминах френологии как ряд отдельных механизмов, заведовавших интеллектуальными и характерологическими свойствами индивида. В противовес картезианскому постулату о структурной «нерасчлененности» мышления и убеждению сенсуалистов в «неврожденности» интеллектуальных и моральных качеств, Галль, с одной стороны, «деструктурировал» человеческое мышление («рассредоточив» его по отдельным участкам мозга), а с другой, – придал интеллектуальным способностям физиологический и отприродный статус. И тот и другой тезисы станут, как покажет будущее, важнейшими предпосылками исследований в области высшей нервной деятельности (Lesch 1984: 169-170). Личностные качества выражаются в особенностях внешнего развития мозга, а, значит, как полагал Галль, и в особенностях внешнего развития черепа – в наличии соответствующих «шишек», бугров, впадин, картографирование которых позволяет судить об умственных способностях и душевных склонностях их владельца. Строение человеческого мозга выражает, таким образом, потенциальное многообразие свойств и качеств, соприродных человеку и, соответственно, свидетельствует о том, что человек как «анатомическое целое» представляет собою в некотором смысле «незавершенный», «потенциализируемый» объект.²⁷ Созвучие френологических изысканий увлечению характерологическими описаниями в духе Лафатера выглядит, с этой точки зрения закономерным именно потому, что и Галль, и Лафатер инициировали своими авторитетами дискурсивную «парадоксализацию» человека.²⁸ Анатомическая локализация свойств чело-

²⁷ Ошибочность принципиального для Галля и его последователей тезиса о строгом соответствии формы мозга и формы черепа, скомпрометировав френологию как науку, не отменяет плодотворности самого тезиса о локализации мозговых функций в различных частях мозговых полушарий. В историко-научной ретроспективе преемственность френологических и неврологических идей стала очевидной в 1870-е годы, когда Фритч и Гитциг доказали наличие в различных извилинах мозговых полушарий психомоторных центров, ответственных за различные части тела (Тарханов 1902: 731). О значении френологии в истории европейской медицины и общественной мысли см.: Cooter 1984.

²⁸ Подробно о восприятии сочинений Лафатера в России см.: Heier 1993. См. также: Вайскопф 1993: 226. Роджер Кутер, автор обширной работы о Галле, полагает, что учение Лафатера не оказало прямого влияния на Галля (Cooter 1984: 5). Так это или нет, очень трудно поверить, что Галль, столь близкий Лафатеру тематически, был равнодушен к исследованию, воспринявшемуся современниками в качестве практического метода антропологического анализа, вдохновлявшего и самого Галля. Важно во всяком случае, что даже в 1840-е годы идеи Лафатера и Галля оцениваются вместе (Куторга 1845: 1-32; Аристов 1848: 3-10). Аристов, бывший в 1840-1850-е годы профессором

веческого характера противоречила телесной статуарности прежней анатомии, заставляя видеть в каждом человеке нечто, что отличает его от других людей, а тем самым проблематизируя и то, что вообще может быть названо человеком. В России учение Галля было неслучайно популяризировано в контексте научных инноваций, которых так опасался Магницкий и которые были важны для русских шеллингианцев. Первым опытом в этом направлении стала работа уже упоминавшегося выше Д.М. Велланского *Физиологическая программа о внешних чувствах, внутренних действиях мозга и наружных очертаниях головы для руководства в частных лекциях из органической физики* (СПб., 1819). Новизну френологических характеристик оценят и литераторы – таково, например, портретирование загадочного доктора Вернера в *Княжне Мэри* М.Ю. Лермонтова (1840): «Он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей» (Лермонтов 1957: 269).²⁹

Как в Европе, так и в России анатомические теории телесного метаморфизма в 1830-е годы - в предосхищение эволюционистских идей Ламарка и Дарвина - были непосредственно созвучными идеологическим импликациям натурфилософии Фридриха фон Шеллинга, Лоренца Окена и Карла-Густава Каруса. Упомянутый выше князь В.Ф. Одоевский позже, формулируя этапы своего философского «взросления», будет писать в предисловии к *Русским ночам*, что метафизика, натурфилософия и анатомия нашли в лице друг друга союзников в поиске такой абсолютной теории, «посредством которой возможно было бы строить <...> все явления Природы» (Одоевский 1913: 9). Анатомия корректирует философские прозрения о единстве органической и неорганической природы и служит *практическим* способом к познанию первоэлементов и законов этого единства (Левин 1895). «Мы принялись за анатомию практически, под руководством знаменитого Лодера, у которого многие из нас были любимыми учениками. Не один кадавер мы искрошали», – вспоминал тот же Одоевский, подчеркивающий мировоззрен-

анатомии Казанского университета, полагал, что характер человека проявляется не только в форме его черепа, но и в телосложении – динамической комбинации анатомических характеристик, исключающей готовую характерологическую классификацию (см. также: Аристов 1853: 3-45).

²⁹ Традиция «френологических» характеристик будет популярной и позже, см., например, описание главного героя у Н. С. Лескова в рассказе «Овцебык» (1862): «Всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему» (Лесков 1956: 31).

ческую принципиальность анатомических и физиологических исследований Любомудров. Для натурфилософа мертвое тело и, соответственно, смерть интересны не тем, что смерть есть, а тем, что она происходит. В центре внимания – не смерть, а процесс болезни и умирания. Больной и мертвый организм интересен как проявление всеобщей метаморфичности, органической эволюции, «с точки зрения» которой и болезни и сама смерть – фазы единого жизненного процесса, аксиоматически удостоверяющего свою недискретность и континуальность в феноменальном многообразии природного мира. Одоевский, при всей своей индивидуальной незаурядности, демонстрирует поэтому вполне характерное умонастроение своего поколения, видящего в анатомии не только стратегию «рассечения», но и стратегию «вос-соединения» – установление «общих» законов, призванных обнаружить априоризм природной упорядоченности.³⁰ Философ, не желающий считаться с единством мира, подобен врачу, который интересуется лишь проявлениями, но не причинами болезней (Одоевский 1913. 9: 53-54).³¹ Современник Буяльского и Одоевского, знаменитый в 1830-1840-е годы врач и философ-шеллингианец Михаил Павлов, полагал между прочим, что в этом-то и состоит основа расхождений между «врачами-эмпириками» и «врачами-философами»: врачи-эмпирики, по Павлову, совершают ту ошибку, что,

рассматривая тело животное как машину своего рода, отдельно от природы, теряются в нем как в лабиринте; для них всякое явление в теле есть явление отдельное. /.../ Для врачей-философов тело животное есть сокращенный физический мир, микрокосм, действующий по одним законам с миром общим, макрокосмом (Павлов 1831: 10-11).

Позитивизм анатомических исследований, как и вообще позитивизм натурфилософии, не исключал, повторимся, мистицизма. Лоренц Окен в 1817 году сетовал, что «Мистицизм продолжает распространяться во всех областях духовной жизни /.../ и даже в естественных науках» (Штейн 1927:

³⁰ В *Русских ночах* Одоевский ссылается на сравнительную анатомию Каруса – сочинение, совершившее, по его словам, перелом в его понятиях об организме, – выделяя поразившую его мысль, что настоящий элемент живой природы есть жидкость. Но если это так, рассуждает Одоевский, то неорганическая природа, содержащая этот элемент, есть сама произведение органической природы. Жизнь, таким образом, не просто предшествует смерти, но она как бы и внеположна смерти, существуя сама по себе и для себя (Сакулин 1913: 485-486).

³¹ В рецензии на *Краткую анатомию* Буяльского Одоевский особенно подчеркнул преемственность его анатомических исследований по отношению к предшествующим им работам Ксавьера Биша (Сакулин 1913: 490). Упомянутый Одоевским Юстус Христиан фон Лодер (1753-1832) – немецкий врач и анатом, работавший в Москве и пользовавшийся широчайшей популярностью (о нем: Muller-Dietz 1995: 72-79). С именем Лодера фольклорная традиция связывает, кстати сказать, рус. слово «лодырь» – якобы так в просторечии называли пациентов возглавляемого Лодером военного госпиталя.

203). Куно Фишер сформулирует эту ситуацию не без иронии: за Шеллингом «следует толпа склонных к магии и мистике натурфилософов, среди которых врачи занимают далеко не последнее место» (Фишер 1905: 148). О том же, но уже в отношении «русского образованного общества» пишет Сакулин: «Мистика образует целое течение в умственной жизни этой эпохи, составляя продолжение и развитие традиций эпохи предшествующей» (Сакулин 1913: 382).³² Традиционное внимание анатомии к мертвому телу приобетало в данном контексте вполне инновативную гносеологическую перспективу. Паталогоанатомические манипуляции «медикализуют» смерть, но также мистифицируют и «виртуализуют» ее, наделяя мертвое тело неведомой ранее информативностью.

В Европе анатомические исследования популяризируются в светском обществе, начиная с середины XVIII века. Мадам де Жанлис вспоминала в своих мемуарах о приятельнице Дидро мадмуазель Биерон (Biheron, 1719-1786), посвятившей большую часть своей жизни анатомии и демонстрировавшей своим знакомым изготовленную ею восковую модель женского тела – копию, отличавшуюся, по словам ученого наблюдателя, от препарированных ею трупов только одним – отсутствием запаха (Genlis 1825: 338-339; McCloy 1952: 163). В России занятия анатомией также находят своих приверженцев. Сергей Аксаков, вспоминая свою учебу в только что основанном (и еще не «реформированном» усилиями Магницкого) Казанском университете (1805), будет вспоминать и об ажиотаже, который вызывали у его сокурсников занятия в анатомическом театре, – сам Аксаков этого ажиотажа, впрочем, не разделяет:

Я начал было слушать с большим участием анатомию, и куда резали живых и мертвых животных, ходил на лекции очень охотно /.../ Но когда дело дошло до человеческих трупов, то я решительно бросил анатомию, потому что боялся мертвецов; но не так думали мои товарищи, горячо хлопотавшие по всему городу об отыскании трупа, и когда он нашелся и был принесен в анатомическую залу – они встретили его с радостным торжеством (Аксаков 1909: 81-82).

Один из героев *Пестрых сказок* В. Ф. Одоевского, старый лекарь из *Истории о петухе, кошки и лягушке* (1834), вспоминает (памятное, по-видимому, самому автору) «восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о

³² Врачом и мистиком был, в частности, пятигорский доктор Мейер, послуживший Лермонтову прототипом доктора Вернера в *Княжне Мэри*. Известны увлечения Мейера де Местром и Сен-Мартеном (Сакулин 1913, 374). В характеристике Лермонтова Вернер – «скептик и материалист, как почти все медики, а вместе с этим поэт» (Лермонтов 1957: 268). В популяризации «медицинского мистицизма» в России заметную роль сыграло сочинение доктора Ястребцова, сочетавшее убеждение автора в зависимости пользы врачевания от твердости веры (Ястребцов 1841).

поступлении в клинику какого-нибудь странного больного или странного мертвого. /.../ „Какое счастье! – кричали они друг другу, – целых шесть славных кадаверов привезли!“ А если между кадаверами попадался какой-нибудь урод с шестью пальцами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!» (Одоевский 1981, 31). В 1840-х годах увлечение анатомированием и изготовлением анатомических препаратов уже мало кого удивляет, принимая подчас гротескные формы, – во Франции, в частности, препарирование трупов или специально изготовленных муляжей, заменявших собою трупы, становится одной из распространенных салонных забав.³³ В России увлечение анатомией выглядит менее эксцентрично, однако и здесь оно было свойственно не только тем, кто выбрал для себя медицинскую профессию (пример Одоевского показателен). Объяснение этому увлечению одно – от анатомии и, в частности, паталогоанатомии ждут большего, чем только установления причин болезней. «Труп молчит, или дает обеты, которые лишь приводят в сомнение о действиях жизни», – пишет Одоевский (Одоевский 1913: 54). Анатом вопрошает труп, но интересуется не смертью, а жизнью.

Роль просветительской идеологии в экстенсивном распространении медицинского знания является, несомненно, определяющей для тех идеологических трансформаций, которые наблюдаются в отношении к теме смерти в культурном дискурсе Европы и России конца XVIII-начала XIX века.³⁴

³³ «Эксперименты со смертью объединяли светских людей в различные кружки. В связи с делом госпожи Лафарж особую популярность приобрели опыты с мышьяком: собакам давали большую или меньшую дозу яду и смотрели, через сколько времени они умрут. Производились также эксгумации. Химик-бальзамировщик Ганналь сумел создать себе рекламу, приглашая светских людей присутствовать при эксгумации трупов, которые он забальзамировал несколько лет назад; эксгумация производилась, чтобы убедиться в их хорошей сохранности. Эти эксгумационные утреники, проводившиеся на кладбищах Шатийон и Пер-Лашез, были в большой моде в 1847 году. В салоне устраивали вечера препарирования трупов. Доктор Озу сконструировал манекен-труп, который, в зависимости от степени правдоподобия, стоил от одной до трех тысяч франков. Этот “труп” клали на стол, и хирург приступал к препарированию. Он пояснял свои действия: “сейчас я отрезаю голову, обнажаю мышцы, вынимаю внутренности...” В конце “анатомического сеанса” от “трупа” оставался один скелет. Чтобы зрители не слишком грустили, время от времени их слух услаждали музыкой и подавали им прохладительные напитки: “Дамы, не переставая следить за операцией, едят мороженое, пьют оршад и жуют печенье”. У некоторых лачинаются нервные припадки, что придает зрелищу еще больше пикантности» (Мартен-Фюжье 1998: 278—279).

³⁴ См. исследование, специально посвященное изменениям в отношении к смерти в эпоху Просвещения: McMaplers 1981. Макманнерс, между прочим, справедливо критикует предложенный Вовелес термин «дехристианизация» как нерелевантный характеру идеологических изменений в представлениях о смерти в описываемую эпоху (McMaplers

Если говорить о самом общем результате таких трансформаций, то в целом их итог выражается в «медикализации» человеческого тела и, вообще, человека. Исследовательским объектом такой медикализации для медицины по-прежнему остается труп – «базовая форма тела для медицины», говоря словами Бодрийяра (Бодрийяр 2000: 216), но налицо и новое. Пафос аналитического (собственно – анатомического) исследования конкретных человеческих тел в эпоху Просвещения уступает пафосу «синтетического» проникновения в тайны человеческой природы. Сфера «человеческого» представляется отныне как сфера физиологической, или даже попросту телесной комбинаторики (буквализованным гротеском такой комбинаторики как раз-таки и служит созданный Франкенштейном «человеко-труп»), и вместе с тем – как сфера таинственной экзистенциальной медиации, связывающей тело и труп, жизнь и смерть. Анатомия конца XVIII–начала XIX века по-прежнему ориентируется на изучении мертвых тел, но пафосом такого изучения отныне выступает интерес к функционированию тела вообще, интерес к механике тела, сопротивляющегося смерти.

Литература

- Аксаков, С. Т. 1909: *Собрание сочинений*. Т. 3. СПб.
- Алексеев, М. П. 1972: *Пушкин. Сравнительно-исторические исследования*. Ленинград.
- Аристов, Е. Ф. 1848: «О значении внешности человека», *Обзорные преподавания в Казанском университете на 1846–1847 учебный год*. Казань.
- 1853: «О телесложениях: лекция из общей анатомии», *Ученые записки, издающиеся Императорским Казанским университетом*. Ч. III. Казань.
- Афанасьев, А. 1868: *Поэтические воззрения славян на природу*. Т. 3. Москва.
- Белинский, В. Г. 1953: *Полное собрание сочинений*. Т. 2. Москва.
- Бодрийяр, Ж. 2000: *Символический обмен и смерть*. Москва.
- Буяльский, И. В. 1844: *Краткая общая анатомия*. СПб.
- Вайскопф, М. 1993. *Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст*. Москва.
- Веселитский, В. В. 1964: *Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX века*. Москва.
- Виноградов, В. В. 1929: *Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский*. Ленинград.
- 1938: *Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.* Москва.
- Вольф, К. Ф. 1950: *Теория зарождения*. Москва.
- 1973: *Предметы размышлений в связи с теорией уродов*. Ленинград.
- Глинка, В. С. 1871: «Высочайшее повеление 1797 года об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими. Сообщил В. С. Глинка из бумаг покойного издателя «Русского вестника» С. Н. Глинки», в: *Русская старина*. Т. 3.
- Гоголь, Н. В. 1938: *Полное собрание сочинений*. Т. 4. Москва.

1981: 440–444), но никак не тематизирует принцип, который бы эти изменения мог выразить сколь-либо однозначно.

- Голикова, Н. 1957: *Политические процессы при Петре I (по материалам Преображенского Приказа)*. Москва.
- Гранвилль, А. В. 1832: *О состоянии медицины в С.-Петербурге*. СПб.
- Даннелман, Ф. 1935: *История естествознания. Естественные науки в их развитии и взаимной связи*. Т. II. Москва-Ленинград.
- 1938: *История естествознания. Естественные науки в их развитии и взаимной связи*. Т. III. Москва-Ленинград.
- Евреинов, Н. 1913: *История телесных наказаний в России*. СПб.
- Загоскин, Н. П. 1891: *Врачи и врачебное дело в старинной России*. Казань.
- 1894: *Из времен Магницкого. Страничка из истории Казанского университета 20-х годов*. Казань.
- Знаменский, П. В. 1881: *Духовные училища в России до реформы 1808 года*. Казань.
- Кантемир, А. 1956: *Собрание стихотворений*. Ленинград.
- Куторга, С. С. 1845: «Лафатер и Галль», в: *Библиотека для чтения*. Т. LXII.
- Лажечников, И. И. 1979: *Ледяной дом*. Москва.
- Левин, А. М. 1895: «Д.М. Велланский и шеллингизм в русской медицине начала XIX в.», в: *Врач*. Т. 16. № 26, 27, 28.
- Лермонтов, М. Ю. 1957: *Собрание сочинений в 6-ти т.* Т. 6. Москва-Ленинград.
- Лесков, Н. С. 1956: *Собрание сочинений в 11-ти т.* Т. 1. Москва.
- Лотман, Ю. М. 1967: «Руссо и русская культура XVIII века», в: *Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы*. / Отв. ред. М. П. Алексеев. Ленинград.
- Мазалова, Н. В. 2001: *Состав человеческий: Человек в традиционных соматических представлениях русских*. СПб.
- Мартен-Фюжье, А. 1998: *Элегантная жизнь, или Как возник «весь Париж», 1815—1848* / Пер. с фр. В. А. Мильчиной, О. Э. Гринберг. Москва.
- Михайловский, Н. К. 1900: *Литературные воспоминания и современная смута*. Т. 2. СПб.
- Нарезный, В. Т. 1983: *Российский Жиблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова*. Петрозаводск.
- Неклюдова, Е. С. 2001: «Домашний врач и женские тайны», в: *Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах*. Сост.: Богданов, К. А. / Панченко, А. А. СПб.
- «Немецкая интеллигенция. Письмо 9-ое». 1875, *Православный собеседник*.
- Одоевский, В. Ф. 1913: *Русские ночи*. Под. ред. С. А. Цветкова. Москва.
- 1981: *Сочинения в 2-х т.* Т. 2. Москва.
- «О познании творца по анатомии». 1760, *Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие*. Май.
- Павлов, М. 1831: *Философический взгляд на холеру с указанием на способ лечения сей болезни сообразно ее натуре*. Москва.
- Пекарский, П. 1861: *Наука и литература в России при Петре Великом*. Т. 1. СПб.
- Пирогов, Н. И. 1916: *Сочинения в 2-х т.* Т. 2. Киев.
- Пушкин, А. С. 1947: *Полное собрание сочинений*. Т. 2. Москва-Ленинград.
- 1948: *Полное собрание сочинений*. Т. 3. Кн. 1. Москва-Ленинград.
- 1948: *Полное собрание сочинений*. Т. 8. Ленинград.
- Русская народная драма*. 1953. Ред., вступит. статья и комментарий П. Н. Беркова. Москва.

- Сакулин, П. Н. 1913: *Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель*. Т. 1, Ч. 1. Москва.
- Скабичевский, А. М. 1892: *Очерки истории русской цензуры (1700–1863 г.)*. СПб.
- Станюкович, Т. В. 1953: *Кунсткамера Петербургской Академии наук*. Москва-Ленинград.
- Сухомлинов, М. И. 1889: *Исследования и статьи по русской литературе и просвещению*. Т. 1. СПб.
- Тарханов, И. 1902: «Френология», *Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона*. Т. XXXVI. СПб.
- Философическое рассуждение о душе, в: *Вечерняя Заря*, 1782. Часть I. Февраль.
- Фяшер К. 1905: *История новой философии*. Т. VII. Шеллинг. СПб.
- Фонвизин, Д. И. 1959: *Собрание сочинений в 2-х т.* Т. 2. Москва-Ленинград.
- Фуко, М. 1998: *Рождение клиники*. Москва.
- Шпет, Г. Г. 1989: *Сочинения*. Москва.
- Штейн, С. 1927: *Пушкин и Гофман. Сравнительное историко-литературное исследование*. Дерпт (Tartu).
- Ястребцов 1841: *Исповедь или собрание рассуждений доктора Ястребцова*. СПб.
- Aldini, J. 1803: «An Account of the Galvanic Experiments», in: *Medical and Physical Journal*. Vol. 9.
- Anemone, A. *The Monsters of Peter the Great: The Culture of St. Petersburg Kunstkamera in the Eighteenth Century*. (Manuscript).
- Anz, T. 1990: «Gains from Illness», in: Käser, R., Pohland, V. (eds). *Disease and Medicine in Modern German Cultures. Cornell Studies in International Affairs. Occasional Paper No. 28*.
- Binet, L. 1952: «Biologie et médecine dans l' "Encyclopédie"» in: *Annales de L'Université de Paris*. N 1.
- Blyakher, L. 1982: *History of Embriology in Russia from the Middle of the Eighteenth to the Middle of the Nineteenth Century*. Washington.
- Baldick, Chris. 1987: *In Frankenstein's Shadow. Myth, Monstrosity, and Nineteenth-Century Writing*. Oxford.
- Bredenkamp, H. 2000: *Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte*. Berlin.
- Bynum, W. F. 1995: *Science and the Practice of Medicine in the Nineteenth Century*. Cambridge. Chapple, J. A. V. 1986: *Science and Literature in the Nineteenth Century*. London.
- Cooter, R. 1984: *The cultural meaning of popular science. Phrenology and the organization of consent in Nineteenth-Century Britain*. Cambridge Univ. Press.
- Dampier, W. C. 1968: *A History of Science and its Relations with Philosophy and Religion*. Cambridge Univ. Press.
- Duschesnea, F. 1982: *La Physiologie des Lumières: Empirisme, modèles et théories*. The Hague, Boston.
- Fodéré, F. F. 1813: *Traité de médecine légale*. Vol. 2. Paris.
- Genlis, Mme. 1825: *Mémoires de Madame la Comtesse de Genlis, sur le dix-huitième siècle et la Révolution française, depuis 1756 jusqu'à nos jours*. Vol. 1. Paris.
- Grmek, M. 1970: «The History of Medical Education in Russia» in: O'Mailley, C. D. (ed.) *The History of Medical Education*. Berkeley.
- Heier, E. 1993: *Literary Portraiture in Nineteenth-Century Russian Prose*. Köln, Weimar, Wien.

- Herzlich, C. / Pierret, J. 1987: *Illness and Self in Society*. Baltimore.
- Hughes, L. 1998: *Russia in the Age of Peter the Great*. New Haven, London.
- Janes, R. 1993: «Beheadings» in: Goodwin S. W. / Bronfen E. (eds.) *Death and Representation*. Baltimore, London.
- Keel, O. 1981: «La formation de la problématique de l'anatomie des systèmes selon Laennec» in: *Commémoration du Bicentenaire de la Naissance de Laennec, 1781-1826. Revue du Palais de la Découverte*. No. Spécial 22.
- Lebrun, F. 1983: *Se soigner autrefois. Médecins, saints et sorciers aux XVIIIe et XVIIIe siècles*. Paris.
- Lesch, J. E. 1984: *Science and Medicine in France. The Emergence of Experimental Physiology, 1790-1855*. Cambridge.
- Linebaugh, P. 1975: «The Tyburn Riot against Surgeons» in: Hay, D. et al. (eds) *Albion's Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth Century England*. New York.
- Lugli, A. 1983: *Naturalia et mirabilia. Il collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d'Europa*. Milano.
- Lupton, D. 1994: *Medicine as Culture. Illness, Disease and the Body in Western Societies*. London.
- Luyendijk-Elshout, A. M. 1970: «Death Enlightened: A Study of Frederik Ruysch» in: *Journal of the American Medical Association*. Vol. 212. No. 1.
- Markley, R. 1993: *Fallen Languages: Crisis of Representation in Newtonian England 1660-1740*. London.
- Martin, B. 1880: *Histoire des monstres. Depuis l'antiquité jusqu'à nos jours*. Paris.
- Maulitz, R. C. 1987: *Morbid Appearances. The Anatomy of Pathology in the Early Nineteenth Century*. Cambridge.
- McCloy, S. T. 1952: *French Inventions of the Eighteenth Century*. Lexington.
- McManners, J. 1981: *Death and Enlightenment. Changing Attitudes to Death among Christians and Unbelievers in Eighteenth-century France*. Oxford.
- Miller, J. 1978: *The Body in Question*. New York.
- Mottelay, P. F. 1922: *Bibliographic History of Electricity and Magnetism*. London.
- Muller-Dietz, H. E. 1995: *Ärzte zwischen Deutschland und Russland. Lebensbilder zur Geschichte der medizinischen Wechselbeziehungen*. Stuttgart.
- Neuburger, M. 1910: *History of Medicine*. Vol. 1. Oxford.
- Nicolson, M. H. 1946: *Newton demands the Muse. Newton's "Optics" and the Eighteenth Century Poets*. Princeton.
- Orfila, M. 1818: *Secours à donner aux personnes empoisonnées ou asphyxiées*. Paris.
- Osler, W. 1923: *The Evolution of Modern Medicine*. London.
- Pfeiffer, C. J. 1985: *The Art and Practice of Western Medicine in the Early Nineteenth Century*. Jefferson, London.
- Porter, R. (ed.) 1992: *The Popularisation of Medicine, 1650-1850*. London, New York.
- Priestley, J. 1772: *Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Elektrizität*. Berlin; Stralsund.
- Ryle, G. 1949: *The Concept of Mind*. Harmondsworth.
- Riguez, A. 1908: *Le docteur Marat, 1743-1783: son système physiologique*. Paris.
- Rowe, K. 1997: «God's Handy Work» in: Hillman, D., Mazzio, C. (eds.) *The Body in Parts: Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe*. New York.
- Samson, C. 1999: «Biomedicine and the Body» in: Samson, K. (ed.) *Health Studies. A Critical and Cross-Cultural Reader*. Oxford.
- Schlösser, J. 1978: *Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance*. Braunschweig.
- Sigerist, H. E. 1961: *Early Greek, Hindu and Persian Medicine*. Vol.II. New York.

- Sontag, S. 1990: *Illness as Metaphor*. New York.
- Trommsdorff, J. B. 1803: *Geschichte des Galvanismus und der galvanischen Elektrizität*. Erfurt.
- Vickers, N. 1997: «Members Only: Marot's Anatomical Blazons» in: Hillman, D. / Mazzio, C. (eds.) *The Body in Parts: Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe*. New York.
- Vasbinder, S. H. 1994: *Scientific Attitudes in Mary Shelley's "Frankenstein": Newtonian Monism as a Basis for the Novel*. (Ph. D. dissertation, Kent State University, 1976). Ann Arbor.
- Vucinich, A. C. 1965: *Science in Russian Culture: A History to 1860*. London.
- 1970: *Science in Russian Culture. 1861--1917*. Stanford.